

О том, как я учился писать. Максим Горький gorkiymaxim.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

О том, как я учился писать. Максим Горький

Товарищи!

Во всех городах, где удалось мне побеседовать с вами, многие из вас спрашивали устно и записками: как я научился писать? Спрашивали меня об этом письмами со всех концов СССР рабселькоры, военкоры и вообще начинающая литературную работу молодежь. Многие предлагали мне "написать книгу о том, как надо сочинять художественные рассказы", "выработать теорию литературы", "издать учебник литературы". Такой учебник я не могу, не сумею сделать, да к тому же такие учебники – хотя и не очень хорошие, но все-таки полезные уже есть.

Необходимо для начинающих писать знание истории литературы, для этого полезна книга В. Келтуяла "История литературы", изданная Госиздатом; в ней хорошо изображен процесс развития устного – "народного" – творчества и письменного – "литературного". В каждом деле нужно знать историю его развития. Если бы рабочие каждой отрасли производства, а еще лучше – каждой фабрики, знали, как она возникла, как постепенно развивалась, совершенствовалась, – рабочие работали бы лучше, чем они работают, с более глубоким пониманием культурно-исторического значения их труда, с большим увлечением.

Нужно знать также историю иностранной литературы, потому что литературное творчество, в существе своем, одинаково во всех странах, у всех народов. Тут дело не только в формальной, внешней связи, не в том, что Пушкин дал Гоголю тему книги "Мертвые души", а сам Пушкин взял эту тему, вероятно, у английского писателя Стерна, из книги "Сентиментальное путешествие"; не важно и тематическое единство "Мертвых душ" с "Записками Пиквикского клуба" Диккенса, – важно убедиться в том, что издавна, всюду плелась и всюду плетется сеть "для уловления человеческой души", что всегда, всюду были, везде есть люди, которые ставили и ставят целью работы своей освободить человека от суеверий, предрассудков, предубеждений. Важно знать, что всюду хотели и хотят успокоить человека в приятных ему пустяках и везде, всегда были и есть мятежники, которые стремились, стремятся поднять бунт против грязной и подлой действительности. И очень важно знать, что, в конце концов, мятежники, указывая людям путь вперед, толкая их на этот путь, все-таки преодолевают работу проповедников успокоения и примирения с мерзостями действительности, созданной классовым государством, буржуазным обществом, которое заразило и заражает трудовой народ подлейшими пороками жадности, зависти, лени, отвращения к труду.

История человеческого труда и творчества гораздо интереснее и значительнее истории человека, – человек умирает, не прожив и сотни лет, а дело его живет века. Сказочные успехи науки, быстрота ее роста объясняются именно тем, что ученый знает историю развития своей специальности. Между наукой и художественной литературой есть много общего: и там и тут основную роль играют наблюдение, сравнение, изучение; художнику, так же как ученому, необходимо обладать воображением и догадкой – "интуицией".

Воображение, догадка дополняют недостающие, еще не найденные звенья в цепи фактов, позволяя ученому создавать "гипотезы" и теории, направляющие более или менее безошибочно и успешно поиски разума, который изучает силы и явления природы и, постепенно подчиняя их разуму и воле человека, создает культуру, которая есть наша, нашей волей, нашим разумом творимая "вторая природа".

Это всего лучше подтверждается двумя фактами: знаменитый химик Дмитрий Менделеев создал на основании изучения всем известных элементов – железа, свинца, серы, ртути и т. д. – "Периодическую систему элементов", которая утверждала, что в природе должно существовать множество других элементов, никем еще не найденных, не открытых; он указал и признаки – удельный вес каждого из этих элементов, никому не известных. Ныне все они открыты, а кроме их, методом Менделеева, найдены и еще некоторые, существования которых и он не предполагал.

Другой факт: Гонорий Бальзак, один из величайших художников, француз, романист, наблюдая психологию людей, указал в одном из своих романов, что в организме человека, наверное, действуют какие-то мощные, неизвестные науке соки, которыми и объясняются различные психофизические свойства организма. Прошло несколько

О том, как я учился писать. Максим Горький gorkiymaxim.ru десятков лет, наука открыла в организме человека несколько ранее неизвестных желез, вырабатывающих эти соки – "гормоны" – и создала глубоко важное учение о "внутренней секреции". Таких совпадений между творческой работой ученых и крупных литераторов – немало. Ломоносов, Гёте были одновременно поэтами и учеными, так же как романист Стриндберг, – он первый в своем романе "Капитан Коль" заговорил о возможности добывать азот из воздуха.

Искусство словесного творчества, искусство создания характеров и "типов", требует воображения, догадки, "выдумки". Описав одного знакомого ему лавочника, чиновника, рабочего, литератор сделает более или менее удачную фотографию именно одного человека, но это будет лишь фотография, лишенная социально-воспитательного значения, и она почти ничего не даст для расширения, углубления нашего познания о человеке, о жизни.

Но если писатель сумеет отвлечь от каждого из двадцати – пятидесяти, из сотни лавочников, чиновников, рабочих наиболее характерные классовые черты, привычки, вкусы, жесты, верования, ход речи и т. д., – отвлечь и объединить их в одном лавочнике, чиновнике, рабочем, этим приемом писатель создаст "тип", – это будет искусство. Широта наблюдений, богатство житейского опыта нередко вооружают художника силою, которая преодолевает его личное отношение к фактам, его субъективизм. Бальзак субъективно был приверженцем буржуазного строя, но в своих романах он изобразил пошлость и подлость мещанства с поразительной, беспощадной ясностью. Есть много примеров, когда художник является объективным историком своего класса, своей эпохи. В этих случаях значение работы художника равноценно с работой ученого-естественника, который исследует условия существования и питания животных, причины размножения и вымирания, изображает картины их ожесточенной борьбы за жизнь.

В борьбе за жизнь инстинкт самозащиты развил в человеке две мощные творческие силы: познание и воображение. Познание – это способность наблюдать, сравнивать, изучать явления природы и факты социальной жизни, короче говоря: познание – есть мышление. Воображение тоже, в сущности своей, мышление о мире, но мышление по преимуществу образами, "художественное"; можно сказать, что воображение – это способность придавать стихийным явлениям природы и вещам человеческие качества, чувствования, даже намерения.

Мы читаем и слышим: "ветер плачет", "стонет", "задумчиво светит луна", "река нашептывала старые былины", "лес нахмурился", "волна хотела сдвинуть камень, он морщился под ее ударами, но не уступал ей", "стул крякнул, точно селезень", "сапог не хотел влезать на ногу", "стекла запотели", – хотя у стекол нет потовых желез.

Все это делает явления природы как бы более понятными для нас и называется "антропоморфизмом", от греческих слов: антропос – человек и морфе – форма, образ. Тут мы замечаем, что человек придает всему, что видит, свои человеческие качества, – воображает, вносит их всюду – во все явления природы, во все созданные его трудом, его разумом вещи. Есть люди, которым кажется, что антропоморфизм неуместен и даже вреден в искусстве словесном, но люди эти сами говорят: "мороз щипал уши", "солнце улыбалось", "наступил май", они не могут не говорить: "дождь идет", хотя дождь не обладает ногами, "погода подлая", хотя явления природы не подлежат нашим моральным оценкам.

Один из древнегреческих философов – Ксенофан – утверждал, что если бы животные обладали способностью воображения, то львы представили бы себе бога огромным и непобедимым львом, крысы – крысой и т. д. Вероятно, комариный бог был бы комаром, а бог туберкулезной бациллы – бациллой. Человек вообразил бога своего всеведущим, всесильным, всетворящим, то есть наделил его лучшими своими стремлениями. Бог – только человеческая "выдумка", вызванная "томительно бедной жизнью" и смутным стремлением человека сделать своей силой жизнь более богатой, легкой, справедливой, красивой. Бог вознесен людьми над жизнью, потому что лучшим качествам и желаниям людей, зародившимся в процессе их труда, не было места в действительности, где идет тяжелая борьба за кусок хлеба.

Мы видим, что, когда передовые люди рабочего класса осознали, как следует перестроить жизнь для того, чтобы их лучшее получило свободу развития, – бог стал не нужен им как выдумка уже пережитая. Исчезла необходимость прятать свое хорошее в бога, потому что стало понятно, каким путем воплотить это хорошее в живую земную действительность.

Бог создан так же, как создаются литературные "типы", по законам абстракции и конкретизации. "Абстрагируются" – выделяются – характерные подвиги многих героев, затем эти черты "конкретизируются" – обобщаются в виде одного героя, скажем – Геркулеса или рязанского мужика Ильи Муромца; выделяются черты, наиболее естественные в каждом купце, дворянине, мужике, и обобщаются в лице одного купца, дворянина, мужика, таким образом получаем "литературный тип". Этим приемом созданы типы Фауста, Гамлета, дон-Кихота, и так же Лев Толстой написал кроткого, "богом убитого" Платона Каратаева, Достоевский – различных Карамазовых и Свидригайловых, Гончаров – Обломова и так далее.

Таких людей, каковы перечисленные, в жизни не было; были и есть подобные им, гораздо более мелкие, менее цельные, и вот из них, мелких, как башни или колокольни из кирпичей, художники слова додумали, "вымыслили" обобщающие "типы" людей – нарицательные типы. Всякого лгуна мы уже называем – Хлестаков, подхалима – Молчалин, лицемера – Тартюф, ревнивца – Отелло и т. д.

Основными "течениями" или направлениями в литературе считаются два: романтизм и реализм. Реализмом именуется правдивое, неприкрашенное изображение людей и условий их жизни. Формул романтизма дано несколько, но точной, совершенно исчерпывающей формулы, с которой согласились бы все историки литературы, пока еще нет, она не выработана. В романтизме необходимо различать тоже два, резко различных направления: пассивный романтизм, – он пытается или примирить человека с действительностью, прикрашивая ее, или же отвлечь от действительности к бесплодному углублению в свой внутренний мир, к мыслям о "роковых загадках жизни", о любви, о смерти, – к загадкам, которые не разрешимы путем "умозрения", созерцания, а могут быть разрешены только наукой. Активный романтизм стремится усилить волю человека к жизни, возбудить в нем мятеж против действительности, против всякого гнета ее.

Но по отношению к таким писателям-классикам, каковы Бальзак, Тургенев, Толстой, Гоголь, Лесков, Чехов, трудно сказать с достаточной точностью кто они, романтики или реалисты? В крупных художниках реализм и романтизм всегда как будто соединены. Бальзак – реалист, но он писал и такие романы, как "Шагреневая кожа" – произведение очень далекое от реализма. Тургенев тоже писал вещи в романтическом духе, так же как и все другие крупнейшие наши писатели, от Гоголя до Чехова и Бунина. Это слияние романтизма и реализма особенно характерно для нашей большой литературы, оно и придает ей ту оригинальность, ту силу, которая все более заметно и глубоко влияет на литературу всего мира.

Взаимное отношение реализма и романтизма будет для вас, товарищи, яснее, если вы остановите внимание ваше на вопросе: "Почему возникает желание писать?" На этот вопрос есть два ответа, один из них дает моя корреспондентка, дочь рабочего, девушка пятнадцати лет. Она говорит в письме своем:

Мне 15 лет, но в такой ранней молодости во мне появился писательский талант, причиной которого послужила томительно бедная жизнь.

Было бы, конечно, правильной, если бы она сказала не "писательский талант", а – желание писать, для того, чтобы украсить своей "выдумкой", обогатить ею "томительно бедную жизнь". Тут возникает вопрос: о чем же можно писать, живя "бедной жизнью"?

На него отвечают народности Поволжья, Приуралья, Сибири. Многие из них еще вчера не имели письменности, но уже за десятки веков до наших дней они обогащали и украшали свою "томительно бедную жизнь" в глухих лесах, на болотах, в пустынных степях Востока и тундрах Севера песнями, сказками, легендами о героях, вымыслами о богах; вымыслы эти именуется "религиозным творчеством", но в существе своем они тоже художественное творчество.

Если бы у моей пятнадцатилетней корреспондентки действительно появился бы талант, – чего я, разумеется, от всей души желаю, – она, вероятно, писала бы так называемые "романтические" вещи, старалась бы обогатить "томительно бедную жизнь" красивыми выдумками, изображала бы людей лучшими, чем они есть. Гоголь написал "О том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", "Старосветских помещиков", "Мертвые души", он же написал и "Тараса Буль-бу". В первых трех вещах им изображены люди с "мертвыми душами" и это – жуткая правда; такие люди жили и живут еще до сего дня; изображая их, Гоголь писал как

О том, как я учился писать. Максим Горький gorkiymaxim.ru
"реалист".

В повести "Тарас Бульба" он изобразил запорожцев боголюбивыми рыцарями и силачами, которые поднимают врага на пике, хотя древко пики не может выдержать пятипудовую тяжесть, переломится. Вообще таких запорожцев не было, и рассказ Гоголя о них – красивая неправда. Тут, как во всех рассказах "Рудого Панька" и во многих других, Гоголь – романтик и, вероятно, потому романтик, что устал наблюдать "томительно бедную" жизнь "мертвых душ".

Товарищ Буденный охаял "Конармию" Бабеля, – мне кажется, что это сделано напрасно: сам товарищ Буденный любит извне украшать не только своих бойцов, но и лошадей. Бабель украсил бойцов его изнутри и, на мой взгляд, лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев.

Человек все еще во многом зверь, но вместе с этим он – культурно – все еще подросток, и приукрасить его, похвалить – весьма полезно: это поднимает его уважение к себе, это способствует развитию в нем доверия к своим творческим силам. К тому же похвалить человека есть за что – все хорошее, общественно ценное творится его силою, его волей.

Значит ли, что тем, что сказано выше, я утверждаю необходимость романтизма в литературе? Да, защищаю, но при условии весьма существенного дополнения к "романтизму".

Другой корреспондент мой, семнадцати лет, рабочий, кричит мне: "У меня так много впечатлений, что не писать я не могу".

В этом случае стремление писать объясняется уже не "бедностью" жизни, а богатством ее, перегруженностью впечатлений, внутренним позывом рассказать о них. Подавляющее большинство моих молодых корреспондентов хотят писать именно потому, что они богаты впечатлениями бытия, "не могут молчать" о том, что они видели, испытали. Из них выработается, вероятно, немало "реалистов", но я думаю, что в их реализме будут и некоторые признаки романтизма, который неизбежен и законен в эпоху здорового духовного подъема, а мы переживаем именно такой подъем.

Итак, на вопрос: почему я стал писать? – отвечаю: по силе давления на меня "томительно бедной жизни" и потому, что у меня было так много впечатлений, что "не писать я не мог". Первая причина заставила меня попытаться внести в "бедную" жизнь такие вымыслы, "выдумки", как "Сказка о соколе и ухе", "Легенда о горящем сердце", "Буревестник", а по силе второй причины я стал писать рассказы "реалистического" характера – "Двадцать шесть и одна", "Супруги Орловы", "Озорник".

По вопросам о нашем "романтизме" необходимо знать еще следующее. До Чехова – рассказы "Мужики", "В овраге" – и Бунина – "Деревня", все его рассказы о крестьянах – дворянская наша литература любила и прекрасно умела изображать крестьянина человеком кротким, терпеливым, влюбленным в какую-то надземную "Христову правду", которой нет места в действительности, но о которой всю жизнь мечтают мужики, подобные Калинычу Тургенева из рассказа "Хорь и Калиныч" и Платону Каратаеву из "Войны и мира" Толстого. Таким кротким и выносливым мечтателем о "божеской правде" ндчали изображать крестьянина лет за двадцать до отмены крепостного права, хотя в то время крепостная деревня уже обильно выдвигала из своей темной среды талантливых организаторов промышленности: Кокоревых, Губониных, Морозовых, Кол-чиных, Журавлевых и т. д. Вместе с этим процессом все чаще в журналистике вспоминалась колоссальная легендарная фигура выходца из "мужиков" Ломоносова, поэта и одного из крупнейших ученых.

Фабриканты, судостроители, торговцы, еще вчера бесправные, смело занимали в жизни место рядом с дворянством и, подобно древнеримским рабам – "вольнот-пухценникам", садились за один стол со своими владыками. Крестьянская масса, выдвигая таких людей, как бы демонстрировала этим силу и талантливость, скрытую в ней, массе. Но дворянская литература как будто не видела, не чувствовала этого и не изображала героем эпохи волевого, жадного до жизни, реальнейшего человека – строителя, стяжателя, "хозяина", продолжая любовно изображать кроткого раба, совестливого Поли-кушку. В 1852 году Лев Толстой пишет очень грустный очерк "Утро помещика", прекрасно рассказывая о том, как рабы не верят доброму, либеральному владыке, с 1862 года Толстой начинает

О том, как я учился писать. Максим Горький gorkiy.ucoz.ru воспитывать крестьянских детей, отрицать "прогресс" и науку, убеждает: учитесь хорошо жить у мужика, а с семидесятих годов пишет рассказы для "народа", изображая в них христоролюбивых, романтизированных мужиков, учит, что самая праведная и блаженная жизнь – в деревне, самый святой труд – мужицкий труд "на земле". А затем, в рассказе "Много ли человеку земли нужно", он говорит, что земли надобно человеку всего три аршина, только на могилу.

Жизнь уже создавала из кротчайших христоролюбцев строителей новых форм экономической жизни, талантливых крупных и мелких "буржуа", хищников Разуваевых и Колупаевых, изображенных Салтыковым-Щедринным и Глебом Успенским, а рядом с хищниками – и мятежников, революционеров. Но все эти люди не замечались литературой дворян. Гончаров в романе "Обломов", – одном из самых лучших романов нашей литературы, – противопоставил русскому обленившемуся до слабоумия барину – немца, а не одного из "бывших" русских мужиков, среди которых он, Гончаров, жил и которые уже начинали командовать экономической жизнью страны. Если писатели-дворяне изображали революционера, так это был или чужеземец-болгарин или бунтовщик на словах Рудин. Волевой, активный русский человек как герой эпохи оставался в стороне от литературы, где-то "за пределами поля зрения" литераторов, хотя он заявлял о себе довольно шумно – бомбами. Можно привести очень много доказательств того, что активный, призывающий к жизни, к деянию романтизм был чужд русской дворянской литературе. Шиллера она не смогла создать и вместо "Разбойников" превосходно изображала "Мертвые души", "Живой труп", "Мертвые дома", "Живые мощи", "Три смерти" и еще множество смертей. "Преступление и наказание" Достоевским написано как будто тоже в противовес "Разбойникам" Шиллера, а "Бесы" Достоевского – самая талантливая и самая злая из всех бесчисленных попыток опорочить революционное движение семидесятих годов.

Литературе разночинцев-интеллигентов активный социально-революционный романтизм тоже был чужд. Разночинец был слишком занят своей личной судьбой, поисками своей роли в драме жизни. Разночинец жил "между молотом и наковальней", молот – самодержавие, наковальня – "народ".

Повести Слепцова "Трудное время" и Осиповича-Новодворского "Записки ни павы, ни вороны" – очень правдивые, сильные произведения – рисуют трагическое положение умных людей, которые не имеют прочной опоры в жизни и живут "ни павами, ни воронами" или же становятся благополучными мещанами, как об этом рассказал Куцевский и замечательно талантливый, умный, недостаточно ценимый Помяловский в своих повестях "Молотов" и "Мещанское счастье". Кстати, обе его повести весьма современны и очень полезны для наших дней, когда оживающий мещанин довольно успешно начинает строить для себя дешевенькое благополучие в стране, где рабочий класс заплатил потоками крови своей за свое право строить социалистическую культуру.

Так называемые писатели-народники – Златоврат-ский, Засодимский, Вологдин, Левитов, Нефедов, Бажин, Николай Успенский, Эртель, отчасти Станюкович, Каронин-Петропавловский и много других – усердно и в тон дворянской литературе занимались идеализацией деревни, крестьянина, который представлялся народникам социалистом по натуре, не знающим иной правды, кроме правды "общины", "мира" – коллектива Первым, кто внушил такой взгляд на крестьянство, был блестяще талантливый барин А. И. Герцен, его проповедь продолжал Н. К. Михайловский, изобретатель двух правд: "правды-истины" и "правды-справедливости". Влияние этой группы литераторов на "общество" было непрочно и кратковременно, их "романтизм" отличался от романтизма дворян только слабой талантливостью, их мечтатели – мужички Минаи, Митяи – плохие копии с портретов Поликушки, Калиныча, Каратаева и прочих преподобных мужичков.

Примыкая к этой группе, но будучи более зоркими социально и талантливее всех, даже вместе взятых, народников, работали два очень крупных литератора: Д. Н. Мамин-Сибиряк и Глеб Успенский. Они первые почувствовали и отметили разноречие деревни и города, рабочего и крестьянина. Особенно ясно было это Успенскому, автору двух замечательных книг: "Нравы Расте-ряевой улицы" и "Власть земли". Социальная ценность этих книг не утрачена и для наших дней, да и вообще рассказы Успенского не потеряли своего воспитательного значения; литературная молодежь может хорошо поучиться у этого писателя умению наблюдать и широте знания действительности.

Выразителем резко отрицательного отношения к идеализации деревни является А. П. Чехов в его упомянутых рассказах "Мужики", "В овраге" и в рассказе "Новая дача",

О том, как я учился писать. Максим Горький gorkiy.ucoz.ru а особенно резко это отношение выражено И. Буниным в повести "Деревня" и во всех его рассказах о крестьянстве. Крайне характерен тот факт, что так же беспощадно изображают деревню писатели-крестьяне Семен Подъячев и Иван Вольнов, очень талантливый, все более заметно растущий писатель. Темы – жизнь деревни, психика крестьянина – живые темы наших дней, крайне важные, это начинающие литераторы должны хорошо понять.

Из всего сказанного достаточно ясно следует, что в нашей литературе не было и нет еще "романтизма" как проповеди активного отношения к действительности, как проповеди труда и воспитания воли к жизни, как пафоса строительства новых ее форм и как ненависти к старому миру, злое наследие которого изживается нами с таким трудом и так мучительно. А проповедь эта необходима, если мы действительно не хотим возвратиться к мещанству, и далее – через мещанство – к возрождению классового государства, к эксплуатации крестьян и рабочих паразитами и хищниками. Именно такого "возрождения" ждут, о нем мечтают все враги Союза Советов, именно ради того, чтобы понудить рабочий класс к восстановлению старого, классового государства, они экономически блокируют Союз. Литератор-рабочий должен ясно понимать, что противоречие между рабочим классом и буржуазией непримиримо, что разрешит его только полная победа или же гибель. Вот из этого трагического противоречия, из трудности задач, которые повелительно возложены историей на рабочий класс, и должен возникнуть тот активный "романтизм", тот пафос творчества, та дерзость воли и разума и все те революционные качества, которыми богат русский рабочий-революционер.

Разумеется, мне известно, что путь к свободе очень труден и не пришло еще время всю жизнь спокойно пить чай в приятной компании с красивыми девушками или сидеть сложа руки перед зеркалом и "любоваться своей красотой", к чему склонны очень многие молодые люди. Действительность все более настойчиво внушает, что при современных условиях спокойненькой жизни не устроишь, счастлив не будешь ни вдвоем, ни в одиночку, что мещанско-кулацкое благополучие не может быть прочным, – основы этого благополучия всюду в мире сгнили. Об этом убедительно говорят озлобление, уныние и тревога мещан всего мира, панические стоны европейской литературы, отчаянное веселье, которым богатый мещанин пытается заглушить свой страх перед завтрашним днем, болезненная жажда дешевых радостей, развитие половых извращений, рост преступности и самоубийств. "Старый мир" поистине смертельно болен, и необходимо очень торопиться "отрясти его прах с наших ног", чтобы гнилостное разложение его не заражало нас.

В то время как в Европе идет процесс внутреннего распада человека, у нас, в трудовой массе, развивается крепкая уверенность в своей силе и в силе коллектива. Вам, молодежи, необходимо знать, что уверенность эта всегда возникает в процессе преодоления препятствий на пути к лучшему и что эта уверенность – самая могучая творческая сила. Надобно знать, что в "старом мире" человечна, – а потому и неоспоримо ценна, – только наука; все же "идеи" старого мира – за исключением идеи социализма – не человечны, потому что так или иначе пытаются установить и оправдать законность "счастья" и власти единиц в ущерб культуре и свободе трудовой массы.

Не помню, чтобы я, в юности, жаловался на жизнь; люди, среди которых я начал жить, очень любили жаловаться, но, заметив, что они это делают из хитрости, для того, чтобы скрыть в жалобах свое нежелание помочь друг другу, – я старался не подражать им. Затем я довольно скоро убедился, что больше всего любят жаловаться люди, не способные к сопротивлению, не умеющие или не желающие работать, и вообще люди со вкусом к "легкой жизни" за счет ближних.

Страх перед жизнью был хорошо испытан мною; теперь я называю этот страх – страхом слепого. Живя – как об этом рассказано мною – в обстановке весьма тяжелой, я с детства видел бессмысленную жестокость и непонятную мне вражду людей, был поражен тяжестью труда одних и животным благополучием других; рано понял, что чем "ближе к богу" считают себя люди религиозные, чем дальше они от тех, кто работает на них, тем более беспощадна их требовательность к рабочим людям; вообще видел всякой мерзости житейской гораздо больше, чем ее видите вы. Кроме того, я ее видел в формах более отвратительных, потому что перед вами болтается мещанин, испуганный революцией и уже не очень уверенный в своем праве быть таким, каков он есть по природе своей; а я видел мещанство совершенно уверенным, что оно живет хорошо и что эта его хорошая, спокойненькая жизнь установилась прочно, навсегда.

О том, как я учился писать. Максим Горький gorkiy.ucoz.ru
В ту пору я уже читал переводы иностранных романов, среди которых мне попадались и книги таких великолепных писателей, как Диккенс и Бальзак, а также исторические романы Энсворта, Бульвер-Литтона, Дюма. Эти книги рассказывали мне о людях сильной воли, резко очерченного характера; о людях, которые живут иными радостями, страдают иначе, враждуют из-за несогласий крупных. А вокруг меня мелкие людишки жадничали, завидовали, озлоблялись, дрались и судились из-за того, что сын соседа перебил камнем ногу курице или разбил стекло в окне; из-за того, что пригорел пирог, переварилось мясо во щах, скисло молоко. Они могли целыми часами сокрушаться о том, что лавочник накинул еще копейку на фунт сахара, а торговец мануфактурой – на аршин ситца. Маленькие несчастья соседей вызывали у них искреннюю радость, они прятали ее за фальшивым сочувствием. Я хорошо видел, что именно копейка служит солнцем в небесах мещанства и что это она зажигает в людях мелкую и грязную вражду. Горшки, самовары, морковь, курицы, блины, обедни, именины, похороны, сытость до ушей и выпивка до свинства, до рвоты – вот что было содержанием жизни людей, среди которых я начал жить. Эта отвратительная жизнь вызывала у меня то снотворную, притупляющую скуку, то желание озорничать, чтобы разбудить себя. Вероятно, о такой же скуке недавно писал мне один из моих корреспондентов, человек девятнадцати лет:

Всем своим трепетом ненавижу эту скуку с примусами, сплетнями, собачьим визгом,

И вот иногда эта скука взрывалась бешеным озорством; ночью, взлезая на крышу, я затыкал печные трубы тряпками и мусором; подбрасывал в кипевшие щи соль, вдувал из бумажной трубки пыль в механизм стенных часов, вообще делал много такого, что называется хулиганством; делал это потому, что, желая почувствовать себя живым человеком, я не знал, не находил иных способов убедиться в этом. Казалось, что я заблудился в лесу, в густом буреломе, перепутанном цепким кустарником, в перегнутое, куда нога уходит по колено.

Помню такой случай: улицей, на которой я жил, водили арестантов из тюрьмы на пароход, который по Волге и Каме отвозил их в Сибирь; эти серые люди всегда вызывали у меня странное тяготение к ним; может быть, я завидовал тому, что вот они под конвоем, а некоторые – в кандалах, но все-таки идут куда-то, тогда как я должен жить, точно одинокая крыса в подвале, в грязной кухне с кирпичным полом. Однажды шла большая партия, побрякивая кандалами, шагали каторжники; крайними, к панели, шли двое скованных по руке и по ноге; один из них большой, чернорылый, с лошадиными глазами, с глубоким, красным шрамом на лбу, с изуродованным ухом, – был страшен. Разглядывая его, я пошел по панели, а он вдруг весело и громко крикнул мне:

– Аида, парнишка, прогуляйся с нами!

Он этими словами как будто за руку взял меня.

Я тотчас подбежал к нему, – конвойный, обругав меня, оттолкнул. А если бы не оттолкнул, я пошел бы, как во сне, за этим страшным человеком, пошел бы именно потому, что он – необыкновенен, не похож на людей, которых я знал; пусть он страшен и в кандалах, только бы уйти в другую жизнь. Я долго помнил этого человека и веселый, добрый голос его. С его фигурой у меня связано другое, тоже очень сильное впечатление: в руки мне попала толстая книга с оторванным началом; я стал читать ее и ничего не понял, кроме рассказа на одной странице о короле, который предложил простому стрелку звание дворянина, на что стрелок ответил королю стихами:

Ах, дай мне жить и кончить жизнь свободным селянином,

Отец мой был мужик простой – мужик мне будет сыном.

Ведь славы больше в том, когда наш брат, простолюдин,

Окажется крупней в делах, чем знатный господин.

Я списал тяжелые эти стихи в тетрадь, и они много лет служили мне чем-то вроде посоха страннику, а может быть, и щитом, который защищал меня от соблазнов и скверных поучений мещан – "знатных господ" той поры. Вероятно, в жизни многих юношей встречаются слова, которые наполняют молодое воображение двигающей силой, как попутный ветер наполняет парус.

О том, как я учился писать. Максим Горький gorkiy.ucoz.ru
Лет через десять я узнал, что это стихи из "Комедии о веселом стрелке Джордже Грине и о Робин Гуде", комедии, написанной в XVI веке предшественником Шекспира – Робертом Грином. Очень обрадовался, узнав это, и еще больше полюбил литературу, издревле верного друга и помощника людям в их трудной жизни.

Да, товарищи, страх перед пошлостью и жестокостью жизни был хорошо испытан мною; дошел я и до попытки убить себя, а затем на протяжении многих лет, вспоминая эту глупость, чувствовал жгучий стыд и презрение к себе.

Я избавился от этого страха после того, как понял, что люди не так злы, как невежественны, и что не они и не жизнь пугает меня, а испуган я моей социальной и всяческой малограмотностью, моей незащищенностью, без-оружностью пред жизнью. Именно так. И мне кажется, что вам следует особенно хорошо подумать над этим, потому что страхи, стоны и жалобы кое-кого из вашей среды тоже не что иное, как результат ощущаемой жалобщиками безоружности пред жизнью и их недоверия к своей способности бороться против всего, чем извне, – а также изнутри, – угнетает человека "старый мир".

Вы должны знать, что люди, подобные мне, были одиночками и пасынками "общества", а вас – уже сотни, и вы – родные дети трудового класса, который осознал свои силы, обладает властью и быстро учится ценить по заслугам полезную работу единиц. Вы имеете в лице рабоче-крестьянской власти власть, которая должна и может помочь вам развить свои способности до совершенства, что она постепенно и делает. И делала бы гораздо более успешно, если бы ей не мешала жить и работать буржуазия, ее и ваш кровный враг.

Вам нужно запастись верою в себя, в свои силы, а эта вера достигается преодолением препятствий, воспитанием воли, "тренировкой" ее. Необходимо учиться побеждать в себе и вне себя дрянненькое наследие прошлого, а иначе – как же вы "отречетесь от старого мира"? Эту песню не стоит петь, если нет сил, нет желаний делать то, чему она учит. Уже и маленькая победа над собою делает человека намного сильнее. Вы знаете, что, тренируя свое тело, человек становится здоровым, выносливым, ловким, – так же следует тренировать свой разум, свою волю.

Вот одно из замечательных достижений такой тренировки: недавно в Берлине демонстрировалась женщина, которая, держа в каждой руке по два карандаша, а пятым в зубах, могла одновременно писать пять различных слов на пяти разных языках. Это казалось бы совершенно невероятным и не потому, что физически трудно, а потому, что требует неестественного раздробления мысли, однако – это факт. С другой стороны, факт этот указывает, как, в сущности, бесплодно тратит человек свои блестящие способности в хаотическом буржуазном обществе, где для того, чтобы обратить на себя внимание, нужно ходить по улицам вверх ногами, устанавливать – едва ли практически полезные – рекорды скоростей движения, играть в шахматы одновременно с двадцатью противниками, достигать невероятнейших "трюков" в акробатике и стихосложении, вообще героически и головоломно фокусничать для развлечения скуки пресыщенных людей.

Вам, молодежь, надобно знать, что все действительно ценное, навсегда полезное и прекрасное, чего достигло человечество в областях науки, искусства, техники, – создано единицами, которые работали в условиях невыразимо трудных, при глубоком невежестве "общества", враждебном сопротивлении церкви, своекорыстии капиталистов, при капризных требованиях "меценатов", – "покровителей науки, искусства". Надо помнить также, что среди творцов культуры много простых рабочих, каким был знаменитый физик Фарадей, каков Эдисон; что прядильный станок изобрел цирюльник Аркрайт; одним из лучших художников-гонимых был кузнец Бернар Палией; величайший драматург мира Шекспир – простой актер, так же как великий Мольер, – таких примеров успешной "тренировки" людьми своих способностей можно насчитать сотни.

Всё это оказалось возможным для единиц, работавших, не имея того огромного запаса научных знаний, технических удобств, которыми обладает наша современность. Подумайте же, насколько облегчены задачи культурной работы у нас, в государстве, где поставлено целью полное раскрепощение людей от бессмысленного труда, от цинической эксплуатации рабочей силы, – от эксплуатации, которая создает быстро вырождающихся богачей и грозит вырождением трудовому классу.

Перед вами стоит совершенно ясное и великое дело "отречения от старого мира" и создания нового. Дело это начато. И, по примеру нашего рабочего класса, всюду

О том, как я учился писать. Максим Горький gorkiyamaxim.ru растет. И какие бы препятствия ни ставил этому делу старый мир, - оно будет развиваться. К нему постепенно готовится рабочий народ всей земли. Создается атмосфера сочувствия работе единиц, которые теперь являются уже не осколками коллектива, а передовыми выразителями творческой воли его.

Перед такой целью, впервые смело поставленной во всей ее широте, вопрос "что делать?" не должен бы иметь места. "Трудно жить"? Да так ли уж трудно? И не потому ли трудно, что возросли потребности, что хочется много такого, о чем отцы ваши и не думали, чего они и не видели? И не стали ли вы излишне требовательны?

Я знаю, разумеется, что среди вас есть уже немало таких, которым понятна радость и поэзия коллективного Труда, - труда, который стремится не к тому, чтобы накопить миллионы копеек, а к тому, чтобы уничтожить пакостную власть копейки над человеком, самым великим чудом мира и творцом всех чудес на земле.

Отвечаю на вопрос: как я учился писать?

Впечатления я получал и непосредственно от жизни и от книг. Первый порядок впечатлений можно сравнить с сырьем, а второй - с полуфабрикатом, или, - говоря грубо, чтобы сказать яснее, - в первом случае передо мной был скот, а во втором - снятая с него и отлично обработанная кожа. Я очень многим обязан иностранной литературе, особенно - французской.

Мой дед был жесток и скуп, но - я не видел, не понимал его так хорошо, как увидел и понял, прочитав роман Бальзака "Евгения Гранде". Отец Евгении, старик Гранде, тоже скуп, жесток и вообще похож на деда моего, но он глупее и не так интересен, как мой дед. От сравнения с французом русский старик, не любимый мною, выиграл, вырос. Это не заставило меня изменить мое отношение к деду, но это было большим открытием - книга обладает способностью доказывать мне о человеке то, чего я не вижу, не знаю в нем.

Скучная книга Джорджа Эллиота "Мидльмарч", книги Ауэрбаха, Шпильгагена показали мне, что в английской и немецкой провинции люди живут не совсем так, как в Нижнем-Новгороде, на Звездинской улице, но - не многим лучше. Говорят о том же, о своих английских и немецких копейках, о необходимости страха перед богом и любви к нему; однако они, так же как люди моей улицы, не любят друг друга, а особенно не любят своеобразных людей, которые тем или иным не похожи на большинство окружающих. Сходства между иностранцами и русскими я не искал, нет, я искал различий, но находил сходство.

Приятели деда, разорившиеся купцы Иван Щуров, Яков Котельников, рассуждали о том же и так же, как люди в знаменитом романе Теккерея "Базар житейской суеты". Я учился грамоте по псалтирю и очень любил эту книгу, она говорит прекрасным музыкальным языком. Когда Яков Котельников, мой дед и вообще старики жаловались друг другу на своих детей, я вспоминал жалобы царя Давида богу на сына своего, бунтовщика Авессалом, и мне казалось, что старики говорят неправду, доказывая один другому, что люди вообще, а молодые в особенности, живут всё хуже, становятся глупее, ленивее, строптивы, не богобоязненны. Точно то же говорили лицемерные герои Диккенса.

Внимательно прислушиваясь к спорам сектантских начетчиков с попами, я замечал, что и те и другие так же крепко держатся за слово, как церковники других стран, что для всех церковников слово - узда человеку и что есть писатели, очень похожие на церковников. В этом сходстве я скоро почувствовал что-то подозрительное, хотя - интересное.

Никакой системы и последовательности в моем чтении, конечно, не было, все совершалось случайно. Брат моего хозяина Виктор Сергеев любил читать французские "бульварные" романы Ксавье де Монтепена, Габорио, Законнэ, Бувье, а прочитав этих авторов, наткнулся на русские книги, в которых насмешливо и враждебно описывались "нигилисты"-революционеры. Я тоже прочитал "Панургово стадо" Вс. Крестовского, "Некуда" и "На ножах" Стебницкого-Лескова, "Марево" Клюшникова, "Взбаламученное море" Писемского. Интересно было читать о людях, почти ничем не похожих на людей, среди которых я жил, а скорее родственников каторжника, приглашавшего меня "прогуляться" с ним. "Революционность" этих людей осталась, конечно, не понятой мною, что и входило в задачи авторов, которые писали "революционеров" одной сажой.

О том, как я учился писать. Максим Горький gorkiymaxim.ru Случайно попались в мои руки рассказы Помяловского "Молотов" и "Мещанское счастье". И вот, когда Помяловский показал мне "томительную бедность" мещанской жизни, нищенство мещанского счастья, я, хотя и смутно, а все-таки почувствовал, что мрачные "нигилисты" чем-то лучше благополучного Молотова. А вскоре за Помяловским мною была прочитана скучнейшая книга Зарубина "Темные и светлые стороны русской жизни", светлых сторон я в ней не нашел, а темные стороны стали для меня понятней и противней.

Плохих книг я прочитал бесчисленное количество, но и они были полезны мне. Плохое в жизни надо знать так же хорошо и точно, как хорошее. Знать надо как можно больше. Чем разнообразнее опыт, тем выше он поднимает человека, тем шире становится поле зрения.

Иностранная литература, давая мне обильный материал для сравнения, удивляла меня своим замечательным мастерством. Она рисовала людей так живо, пластично, что они казались мне физически ощутимыми, и притом я их видел всегда более активными, чем русские, – они меньше говорили, больше делали.

Настоящее и глубокое воспитательное влияние на меня как писателя оказала "большая" французская литература – Стендаль, Бальзак, Флобер; этих авторов я очень советовал бы читать "начинающим". Это действительно гениальные художники, величайшие мастера формы, таких художников русская литература еще не имеет. Я читал их по-русски, но это не мешает мне чувствовать силу словесного искусства французов. После множества "бульварных" романов, после Майн-Рида, Купера, Густава Эмара, Понсон дю-Террайля, – рассказы великих художников вызывали у меня впечатление чуда.

Помню, "Простое сердце" флопера я читал в троицын день, вечером, сидя на крыше сарая, куда залез, чтобы спрятаться от празднично настроенных людей. Я был совершенно изумлен рассказом, точно оглох, ослеп, – шумный весенний праздник заслонила предо мной фигура обыкновеннейшей бабы, кухарки, которая не совершила никаких подвигов, никаких преступлений. Трудно было понять, почему простые, знакомые мне слова, уложенные человеком в рассказ о "неинтересной" жизни кухарки, так взволновали меня? В этом был скрыт непостижимый фокус, и – я не выдумываю – несколько раз, машинально и как дикарь, я рассматривал страницы на свет, точно пытаюсь найти между строк разгадку фокуса.

Мне знакомы были десятки книг, в которых описывались таинственные и кровавые преступления. Но вот я читаю "Итальянские хроники" Стендаля и снова не могу понять – как же это сделано? Человек описывает жестоких людей, мстительных убийц, а я читаю его рассказы, точно "жития святых", или слышу "Сон богородицы" – повесть о ее "хождении по мукам" людей в аду.

И уже совершенно поражен был я, когда в романе Бальзака "Шагреновая кожа" прочитал те страницы, где изображен пир у банкира и где одновременно говорят десятка два людей, создавая хаотический шум, много-гласие которого я как будто слышу. Но главное – в том, что я не только слышу, а и вижу, кто как говорит, вижу глаза, улыбки, жесты людей, хотя Бальзак не изобразил ни лиц, ни фигур гостей банкира.

Вообще искусство изображения людей словами, искусство делать их речь живой и слышной, совершеннейшее мастерство диалога всегда изумляло меня у Бальзака и французов. Книги Бальзака написаны как бы масляными красками, и, когда я впервые увидел картины Рубенса, я вспомнил именно Бальзака. Читая безумные книги Достоевского, я не могу не думать, что он весьма многим обязан именно этому великому мастеру романа. Нравились мне и сухие, четкие, как рисунки пером, книги Гонкуров и угрюмая, темными красками, живопись Золя. Романы Гюго не увлекали, даже "Девяносто третий год" я прочитал равнодушно; причина этого равнодушия стала мне понятна после того, как я познакомился с романом Анатоля Франса "Боги жаждут". Романы Стендаля я читал уже после того, как научился многое ненавидеть, и спокойная речь, скептическая усмешка его очень утвердили мою ненависть.

Из всего сказанного о книгах следует, что я учился писать у французов. Вышло это случайно, однако я думаю, что вышло неплохо, и потому очень советую молодым писателям изучать французский язык, чтобы читать великих мастеров в подлиннике и у них учиться искусству слова.

"Большую" русскую литературу – Гоголя, Толстого, Тургенева, Гончарова,

О том, как я учился писать. Максим Горький gorkiymaxim.ru Достоевского, Лескова – я читал значительно позднее. Лесков несомненно влиял на меня поразительным знанием и богатством языка. Это вообще отличный писатель и тонкий знаток русского быта, писатель, все еще не оцененный по заслугам перед нашей литературой. А. П. Чехов говорил, что очень многим обязан ему. То же, я думаю, мог бы сказать и А. Ремизов.

Указываю на эти взаимные связи и влияния для того, чтобы повторить: знание истории развития иностранной и русской литературы необходимо писателю.

Лет двадцати я начал понимать, что видел, пережил, слышал много такого, о чем следует и даже необходимо рассказать людям. Мне казалось, что я знаю и чувствую кое-что не так, как другие; это смущало и настраивало меня беспокойно, говорливо. Даже читая книги таких мастеров, как Тургенев, я думал иногда, что, пожалуй, мог бы рассказать, например, о героях "Записок охотника" иначе, не так, как это сделано Тургеневым. В эти годы я уже считался интересным рассказчиком, меня внимательно слушали грузчики, булочники, "босяки", плотники, железнодорожные рабочие, "странники по святым местам" и вообще люди, среди которых я жил. Рассказывая о прочитанных книгах, я все чаще ловил себя на том, что рассказывал неверно, искажая прочитанное, добавляя к нему что-то от себя, из своего опыта. Это происходило потому, что факты жизни и литература сливались у меня в единое целое. Книга – такое же явление жизни, как человек, она – тоже факт живой, говорящий, и она менее "вещь", чем все другие вещи, созданные и создаваемые человеком.

Слушали меня интеллигенты и советовали:

– Пишите! Попробуйте писать!

Нередко я чувствовал себя точно пьяным и переживал припадки многоречивости, словесного буйства от желания выговорить все, что тяготило и радовало меня, хотел рассказать, чтоб "разгрузиться". Бывали моменты столь мучительного напряжения, когда у меня, точно у истерика, стоял "ком в горле" и мне хотелось кричать, что стекольник Анатолии – мой друг, талантливейший парень – погибнет, если не помочь ему; что проститутка Тереза – хороший человек и несправедливо, что она – проститутка, а студенты, пользуясь ею, не видят этого, так же как не видят, что Матица, старуха-нищая, – умнее, чем молодая, начитанная акушерка Яковлева.

Втайне даже от близкого моего друга, студента Гурия Плетнева, я писал стихи о Терезе, Анатолии, о том, что снег весной тает не для того, чтобы стекать грязной водой с улицы в подвал, где работают булочники, что Волга красивая река, крендельщик Кузин – Иуда Предатель, а жизнь – сплошное свинство и тоска, убивающая душу.

Стихи писал я легко, но видел, что они – отвратительны, и презирал себя за неумение, за бездарность. Я читал Пушкина, Лермонтова, Некрасова, переводы Курочкина из Беранже и очень хорошо видел, что ни на одного из этих поэтов я ничем не похож. Писать прозу – не решался, она казалась мне труднее стихов, она требовала особенно изощренного зрения, прозорливой способности видеть и отмечать невидимое другими и какой-то необыкновенно плотной, крепкой кладки слов. Но все-таки стал пробовать себя и в прозе, избрав однако стиль прозы "ритмической", находя простую – непосильной мне. Попытки писать просто приводили к результатам печальным и смешным. Ритмической прозой я написал огромную "поэму" "Песнь старого дуба". В. Г. Короленко десятком слов разрушил до основания эту деревянную вещь, в которой я, кажется, изложил свои размышления по поводу статьи "Круговорот жизни", напечатанной, если не ошибаюсь, в научном журнале "Знание", – статья говорила о теории эволюции. Из нее в памяти моей осталась только одна фраза:

"Я в мир пришел, чтобы не соглашаться", – и, кажется, действительно не соглашался с теорией эволюции.

Но Короленко не вылечил меня от пристрастия к "ритмической" прозе и, спустя еще лет пять, похвалив мой рассказ "Дед Архип", сказал, что напрасно я сдобрил рассказ "чем-то похожим на стихи". Я ему не поверил, но дома, просмотрев рассказ, горестно убедился, что целая страница – описание ливня в степи – написана мною именно этой проклятой "ритмической". Она долго преследовала меня, незаметно и неуместно просачиваясь в рассказы. Я начинал рассказы какими-то

О том, как я учился писать. Максим Горький gorkiy.ucoz.ru поющими фразами, например, так: "Лучи луны прошли сквозь ветви кизила и цепкие кусты держидерева", и потом, в печати, мне было стыдно убедиться, что "лучи луны" читаются, как лучины, а "прошли" – не то слово, какое следовало поставить. В другом рассказе у меня "извозчик извлек из кармана кисет" – эти три "из" рядом не очень украшали "томительно бедную жизнь". Вообще я старался писать "красиво".

"Пьяный, прижавшись к столбу фонаря, смотрел, улыбаясь, на тень свою, она вздрагивала", – а ночь – по моим же словам – была тихая, лунная, такими ночами фонарей не зажигали, тень не могла вздрагивать, если нет ветра и огонь горит спокойно. Такие "описки" и "обмолвки" встречались почти в каждом моем рассказе, и я жестоко ругал себя за это.

"Море смеялось", – писал я и долго верил, что это – хорошо. В погоне за красотой я постоянно грешил против точности описаний, неправильно ставил вещи, неверно освещал людей.

"А печь стоит у вас не так", – заметил мне Л. Н. Толстой, говоря о рассказе "двадцать шесть и одна". Оказалось, что огонь крендельной печи не мог освещать рабочих так, как было написано у меня. А. П. Чехов сказал мне о Медынской в "Фоме Гордееве":

"У нее, батенька, три уха, одно – на подбородке, смотрите!" Это было верно, – так неудачно я посадил женщину к свету.

Такие, будто мелкие, ошибки имеют большое значение, потому что они нарушают правду искусства. Вообще крайне трудно найти точные слова и поставить их так, чтобы немногими было сказано много, "чтобы словам было тесно, мыслям – просторно", чтобы слова дали живую картину, кратко отметили основную черту фигуры, укрепили сразу в памяти читателя движения, ход и тон речи изображаемого лица. Одно дело – "окрашивать" словами людей и вещи, другое – изобразить их так "пластично", живо, что изображенное хочется тронуть рукой, как, часто, хочется потрогать героев "Войны и мира" у Толстого.

Мне нужно было написать несколькими словами внешний вид уездного городка средней полосы России. Вероятно, я сидел часа три, прежде чем удалось подобрать и расположить слова в таком порядке:

"Волнистая равнина вся исхлестана серыми дорогами, и пестрый городок Окуров посреди ее – как затейливая игрушка на широкой сморщенной ладони".

Мне показалось, что я написал хорошо, но, когда рассказ был напечатан, я увидел, что мною сделано нечто похожее на расписной пряник или красивенькую коробку для конфет.

Вообще – слова необходимо употреблять с точностью самой строгой. Вот пример из другой области: было сказано: "Религия – опиум".

Но врачи дают опиум больным как средство, утоляющее боль, значит опиум полезен человеку. А о том, что опиум курят, как табак, и что от курения опиума люди погибают, что опиум – яд, значительно более вредный, чем водка-алкоголь, – широким массам неизвестно.

Мои неудачи всегда заставляют меня вспоминать горестные слова поэта:

"Нет на свете мук сильнее муки слова".

Но об этом гораздо лучше, чем я, говорит А. Г. Горнфельд в книжке "Муки слова", изданной Госиздатом в 1927 году.

Очень хорошую книжку эту я усиленно рекомендую вниманию "молодых товарищей по перу".

"Холоден и жалок нищий наш язык", – сказал, кажется, Надсон, и редкий из поэтов не жаловался на "нищету" языка.

Я думаю, что это – жалобы на "нищету" не русского, а вообще человеческого языка, и вызывает их то, что есть чувствования и мысли неуловимые, невыразимые словом. Именно об этом прекрасно говорит книжка Горнфельда. Но, минуя "неуловимое

О том, как я учился писать. Максим Горький gorkiymaxim.ru словом", русский язык неисчерпаемо богат и все обогащается с быстротой поражающей. Чтобы убедиться в быстроте роста языка, стоит только сравнить запасы слов – лексиконы – Гоголя и Чехова, Тургенева и, например, Бунина, Достоевского и, скажем, Леонида Леонова. Последний сам в печати заявил, что он идет от Достоевского, он мог бы сказать, что в некоторых отношениях – укажу на оценку разума – он зависим и от Льва Толстого. Но обе эти зависимости таковы, что свидетельствуют лишь о значительности молодого писателя и отнюдь не скрывают своеобразия его. В романе "Вор" он совершенно неоспоримо обнаружил, что языковое богатство его удивительно; он уже дал целый ряд своих, очень метких слов, не говоря о том, что построение его романа изумляет своей трудной и затейливой конструкцией. Мне кажется, что Леонов – человек какой-то "своей песни", очень оригинальной, он только что начал петь ее, и ему не может помешать ни Достоевский, ни кто иной.

Уместно будет напомнить, что язык создается народом. Деление языка на литературный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, "сырой" язык и обработанный мастерами. Первым, кто прекрасно понял это, был Пушкин, он же первый и показал, как следует пользоваться речевым материалом народа, как надобно обрабатывать его.

Художник – чувствилище своей страны, своего класса, ухо, око и сердце его; он – голос своей эпохи. Он обязан знать как можно больше, и чем лучше будет знать прошлое, тем более понятным явится для него настоящее время, тем сильнее, глубже почувствует он универсальную революционность нашего времени и широту его задач. Обязательно необходимо знать историю народа, и так же необходимо знать его социально-политическое мышление. Ученые историки культуры, этнографы – указывают, что это мышление выражается в сказках, легендах, пословицах и поговорках. Именно пословицы и поговорки выражают мышление народной массы в полноте особенно поучительной, и начинающим писателям крайне полезно знакомиться с этим материалом не только потому, что он превосходно учит экономии слова, речевой сжатости и образности, а вот почему: количественно преобладающим населением Страны Советов является крестьянство, та глина, из которой история создавала рабочих, мещан, купцов, попов, чиновников, дворян, ученых и художников. Мышление крестьянства наиболее усердно воспитывалось церковниками государственной церкви и отколовшимися от нее сектантами. Оно издавна приучено думать в готовых окостеневших формах, какими и являются пословицы и поговорки, большинство которых не что иное, как сжатые поучения церковников. "Сильную руку – богу судить", "Подумаешь – горе, раздумаешь божья воля", "Где смерд подумал, там бог не был", "Ты богу угоди, а сам думать – погоди!", "Тише едешь – дальше будешь", "Не в свои сани не садись", "Всяк сверчок знай свой шесток" – существуют сотни таких пословиц, и в любой из них легко можно открыть спрятанные за словами поучения библейских пророков, "отцов церкви" – Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Кирилла Иерусалимского и других.

Когда я читал книги "консерваторов", "охранителей и защитников самодержавного строя", в книгах этих я не находил ничего нового для себя именно потому, что каждая страница их повторяла в развернутой форме – в расширенном толковании – ту или другую из пословиц, с детства знакомых мне. Было совершенно ясно, что вся премудрость консерваторов – К. Леонтьева, К. Победоносцева и других – пропитана той "народной мудростью", в которой наиболее крепко сжата церков-гость.

Есть, разумеется, значительное количество пословиц другого смысла, например: "Нам – жить в кротости, а нас палкой по кости", "Богом барину телятинка жарена, а мужику – хлебушка краюха да – в ухо", "Живем – не тужим, бар не хуже, они – на охоту, мы – на работу, они – спать, а мы опять, они выспятся да – за чай, а мы – цепями качай".

Вообще пословицы и поговорки образцово формируют весь жизненный, социально-исторический опыт трудового народа, и писателю совершенно необходимо знакомиться с материалом, который научит его сжимать слова, как пальцы в кулак, и развертывать слова, крепко сжатые другими, развертывать их так, чтобы было обнажено спрятанное в них, враждебное задачам эпохи, мертвое.

Я очень много учился на пословицах, иначе – на мышлении афоризмами. Помню такой случай: мой приятель, балагур Яков Солдатов, дворник, метет улицу. Метла новенькая и не омызгана. Посмотрел Яков на меня, подмигнул веселым глазом и сказал:

О том, как я учился писать. Максим Горький gorkiy.msk.ru
- Хороша метла, а сорье - не вымести дотла, я его подмету, а соседи поднесут.

Мне стало ясно: дворник верно сказал. Если даже и соседи подметут участки свои, ветер нагонит сору с других улиц; если и все улицы города почистятся, пыль прилетит с поля, с дорог, из других городов. Работа около собственного дома, конечно, необходима, но она будет богаче результатами, если ее расширить на всю свою улицу, на весь город, на всю землю.

Так можно развернуть поговорку, а вот пример того, как она создается: в Нижнем-Новгороде начались заболевания холерой и какой-то мещанин стал рассказывать, что доктора морят больных. Губернатор Баранов приказал арестовать его и отправить на работу санитаром в холерный барак. Но, проработав некоторое время, мещанин будто бы благодарил губернатора за урок, а Баранов сказал ему:

- Окунувшись башкой в правду - врать не станешь!

Баранов был человек грубый, но не глупый, я думаю, что он мог сказать такие слова. А впрочем, все равно, кто сказал их.

Вот на таких живых мыслях я учился думать и писать. Эти мысли дворников, адвокатов, "бывших" и всяких других людей я находил в книгах одетыми в другие слова, таким образом факты жизни и литературы взаимно дополняли друг друга.

О том, как создаются мастерами слова "типы" и характеры, я уже говорил выше, но, может быть, следует указать два интересных примера.

"Фауст" Гёте - один из превосходнейших продуктов художественного творчества, которое всегда "выдумка", вымысел или, вернее, "домысел" и воплощение мысли в образ. "Фауста" я прочитал, когда мне было лет двадцать, а через некоторое время узнал, что лет за двести до немца Гёте о Фаусте писал англичанин Кристофер Марлоу, что польский "лубочный" роман "Пан Твардовский" - тоже "фауст", так же как роман француза Поля Мюссе "Искатель счастья", и что основой всех книг о "фаусте" служит средневековое народное сказание о человеке, который в жажде личного счастья и власти над тайнами природы, над людьми продал душу свою чёрту. Сказание это выросло из наблюдений над жизнью и работой средневековых ученых "алхимиков", которые стремились делать золото, выработать эликсир бессмертия. Среди этих людей были честные мечтатели, "фанатики идеи", но были и шарлатаны, обманщики. Вот бесплодность усилий этих единиц достичь "высшей власти" и была осмеяна в истории приключений средневекового доктора Фауста, которому и сам чёрт не помог достичь всезнания, бессмертия.

А рядом с несчастной фигурой Фауста была создана фигура, тоже известная всем народам: в Италии это - Пульчинелло, в Англии - Понч, в Турции - Карапет, у нас - Петрушка. Это - непобедимый герой народной кукольной комедии, он побеждает всех и все: полицию, попов, даже чёрта и смерть, сам же остается бессмертен. В грубом и наивном образе этом трудовой народ воплотил сам себя и свою веру в то, что в конце концов именно он преодолет все и всех.

Эти два примера еще раз подтверждают сказанное выше: "анонимное" творчество, то есть творчество каких-то неизвестных нам людей¹, тоже подчиняется законам абстракции, отвлечения характерных черт той или иной общественной группы, и конкретизации, обобщения этих черт в одном лице этой группы. Строгое подчинение художника этим законам и помогает ему создавать "типы". Так Шарль де-Костер сделал "Тиля Уленшпигеля" - национальный тип фламандца, Ромэн Рол-лан - бургундца "Кола Брюньона", Альфонс Додэ провансальца "Тартарена". Создавать такие яркие портреты "типичных" людей возможно только при условии хорошо развитой наблюдательности, умения находить сходства, видеть различия, только при условии учиться, учиться и учиться. Где отсутствует точное знание, там действуют догадки, а из десяти догадок девять - ошибки.

-----¹ Мы имеем право назвать это творчество "народным", потому что оно возникало, наверное, в цехах ремесленников для представления на сцене во дни цеховых праздников. (Прим. автора.)

Я не считаю себя мастером, способным создавать характеры и типы, художественно равноценные типам и характерам Обломова, Рудина, Рязанова¹ и т. д. Но все же для того, чтобы написать "Фому Гордеева", я должен был видеть не один десяток купеческих сыновей, не удовлетворенных жизнью и работой своих отцов, они смутно

О том, как я учился писать. Максим Горький gorkiymaxim.ru чувствовали, что в этой однотонной, "томительно бедной жизни" – мало смысла. Из таких, как Фома, осужденных на скучную жизнь и оскорбленных скукой, задумавшихся людей, в одну сторону выходили пьяницы, "прожигатели жизни", хулиганы, а в другую – отлетали "белые вороны", как Савва Морозов, на средства которого издавалась ленинская "Искра", как пермский пароходчик Н. А. Мешков, снабжавший средствами партию эсеров, калужский заводчик Гончаров, москвич Н. Шмит и еще многие. Отсюда же выходили и такие культурные деятели, как череповецкий городской голова Милютин и целый ряд московских, а также провинциальных купцов, весьма умело и много поработавших в области науки, искусства и т. д. Крестный отец Фомы Гордеева, Маякин, тоже сделан из мелких черточек, из "пословиц", и я не ошибся: после 1905 года – после того, как рабочие и крестьяне вымостили для Маякиных дорогу к власти своими телами, – Маякины, как известно, играли немалую роль в борьбе против рабочего класса, да и теперь еще мечтают вернуться на старые гнезда.

Молодежь ставит мне вопрос: почему я писал о "боссяках"?

Потому, что, живя в среде мелкого мещанства, видя пред собою людей, единственным стремлением которых было стремление жульнически высасывать кровь человека, сгущать ее в копейки, а из копеек лепить рубли, я тоже, как девятнадцатилетний корреспондент мой, "всем своим трепетом" возненавидел эту комариную жизнь обыкновенных людей, похожих друг на друга, как медные пятаки чекана одного года.

-----1 очень хорошо сделанный Слепцовым в повести "Трудное время" тип интеллигента-разночинца. (Прим. автора.)

Боссяки явились для меня "необыкновенными людьми". Необыкновенно в них было то, что они, люди "деклассированные", – оторвавшиеся от своего класса, отвергнутые им, – утратили наиболее характерные черты своего классового облика. В Нижнем, в "Миллионке", среди "золотой роты", дружно уживались бывшие зажиточные мещане с моим двоюродным братом Александром Кашириным, кротким мечтателем, с художником-итальянцем Тонтини, учителем гимназии Гладковым, бароном Б., с помощником полицейского пристава, долго сидевшим в тюрьме за грабеж, и со знаменитым вором "Николкой-генералом", настоящая фамилия которого была Фандер-Флит.

В Казани, на "Стекланном заводе", жило человек двадцать таких же разношерстных людей. "Студент" Радлов или Радунов; старик-тряпичник, отбывший десять лет каторги; бывший лакей губернатора Андреевского Васька Грачик; машинист Родзиевич, сын священника, белорус; ветеринар Давыдов. В большинстве своем люди эти были нездоровы, алкоголики, жили они не без драк между собою, но у них хорошо было развито чувство товарищеской взаимопомощи, все, что им удавалось заработать или украсть, – пропивалось и проедалось вместе. Я видел, что хотя они живут хуже "обыкновенных людей", но чувствуют и сознают себя лучше их, и это потому, что они не жадны, не душат друг друга, не копят денег. А некоторые из них могли бы копить, в них еще остались признаки "хозяйственности" и любовь к "порядочной" жизни. Копить они могли бы потому, что Васька Грачик, ловкий и удачливый вор, приносил им нередко свою добычу и сдавал ее "казначее" Родзиевичу, который распоряжался "хозяйством" завода бесконтрольно и был удивительно мягкий, безвольный человек.

Помню несколько сцен такого рода: кто-то украл и принес хорошие охотничьи сапоги, решено было пропить их. Но Родзиевич, больной, за несколько дней перед этим избитый полицией, сказал, что пропить следует только голенища, а головки отрезать и дать "Студенту", он ходит в развалившихся опорках.

– Застудит ноги – сдохнет, а человек хороший.

Головки отрезали, но старый каторжанин предложил сшить из голенищ две пары лаптей, одну – для себя, другую – для Родзиевича. Так и не пропили сапоги. Грачик объяснял свою дружбу с этими людьми и щедрую помощь им своей любовью к "образованным".

– Я, брат, образованного человека люблю пуще красивейшей женщины, говорил он мне. Это был странный человек, черноволосый, с тонким красивым лицом, с хорошей улыбкой; всегда задумчивый, малословный, он вдруг взрывался буйным, почти бешеным весельем, плясал, пел, рассказывал о своих удачах, обнимался со всеми, точно уходил на войну, на смерть. На его средства в Задней Мокрой улице, – где

О том, как я учился писать. Максим Горький gorkiyamaxim.ru теперь Московский вокзал, – в подвале трактира Бутова, кормилось человек восемь каких-то нищих, стариков и старух, а среди них молодая сумасшедшая женщина с годовалым ребенком. Вором он стал так: будучи лакеем губернатора, провел ночь со своей возлюбленной, а утром, возвращаясь домой, похмельный, выхватил у бабы-молочницы стойку молока и начал пить; его схватили, стал драться; строгий мировой судья Колонтаев, великий либерал, посадил его в тюрьму. Васька, отсидев срок наказания, залез в кабинет Колонтаева, изорвал у него бумаги, стащил будильник, бинокль и снова попал в тюрьму. Я познакомился с ним, когда его после неудачной кражи в Татарской слободе преследовали ночные сторожа, одному из них я подставил ногу, этим помог Василию убежать, и сам побежал с ним.

Странные были люди среди босяков, и многого я не понимал в них, но меня очень подкупало в их пользу то, что они не жаловались на жизнь, а о благополучной жизни "обывателей" говорили насмешливо, иронически, но не из чувства скрытой зависти, не потому что "видит око, да зуб неймет", а как будто из гордости, из сознания, что живут они – плохо, а сами по себе лучше тех, кто живет "хорошо".

Изображенного мною в "бывших людях" содержателя ночлежки Кувалду я увидел впервые в камере мирового судьи Колонтаева. Меня поразило чувство собственного достоинства, с которым этот человек в лохмотьях отвечал на вопросы судьи, презрение, с которым он возражал полицейскому, обвинителю, и потерпевшему – трактирщику, избитому Кувалдой. Также изумлен был я беззлой насмешливостью одесского босяка, рассказавшего мне случай, описанный мною в рассказе "Челкаш". С этим чело веком я лежал в больнице города Николаева (Херсонского). Хорошо помню его улыбку, обнажавшую его великолепные белые зубы, – улыбку, которой он заключил повесть о предательском поступке парня, нанятого им на работу: "Так и пустил я его с деньгами; иди, болван, ешь кашу!".

Он мне напомнил "благородных" героев Дюма. Из больницы мы вышли вместе и, сидя со мною в люнетах лагеря за городом, угощая меня дыней, он предложил:

"Может – займешься со мною хорошим делом? С тебя, думаю, толк будет".

Я был очень польщен этим предложением, но в ту пору я уже знал, что есть дело более полезное, чем контрабанда и воровство.

Так вот чем объясняется мое пристрастие к "босякам" – желанием изображать людей "необыкновенных", а не людей нищеватого, мещанского типа. Тут, конечно, сказалось и влияние иностранной и прежде других французской литературы, более красочной и яркой, чем русская. Но главным образом тут действовало желание прикрасить за свой счет – "вымыслом" – "томительно бедную жизнь", о которой говорит пятнадцатилетняя девушка.

Это желание, как я уже сказал, называется "романтизмом". Некоторые критики считали мой романтизм отражением философского идеализма. Я думаю, что это неправильно.

Философский идеализм учит, что над человеком, животными и над всеми вещами, которые человек создает, существуют и главенствуют "идеи"; они служат совершеннейшими образцами всего, творимого людьми, и человек, в деятельности своей, вполне зависит от них, вся его работа сводится к подражанию образцам, "идеям", бытие которых он якобы смутно чувствует. С этой точки зрения, где-то над нами существует идея кандалов и двигателя внутреннего сгорания, идея туберкулезной бациллы и скорострельного оружия, идея жабы, мещанина, крысы и вообще всего, что существует на земле и что создается человеком. Совершенно ясно, что отсюда вытекает неизбежность признать бытие творца всех идей, какое-то существо, зачем-то создающее орла и вошь, слона и лягушку.

Для меня не существует идеи вне человека, для меня именно он является творцом всех вещей и всех идей, именно он – чудотворец и в будущем владыка всех сил природы. Самое прекрасное в мире нашем то, что создано трудом, умной человеческой рукой, и все наши мысли, все идеи возникают из трудового процесса, в чем убеждает нас история развития искусства, науки, техники. Мысль приходит после факта. Пред человеком я потому "преклоняюсь", что, кроме воплощений его разума, его воображения, его домысла, – не чувствую и не вижу ничего в нашем мире. Бог есть такая же человечья выдумка, как, например, – "светопись", с той разницей, что "фотография" фиксирует действительно сущее, а бог – снимок с выдумки человека о себе самом как о существе, которое хочет – и может – быть

О том, как я учился писать. Максим Горький gorkiymaxim.ru
всезнающим, всемогущим и совершенно справедливым.

И если уж надобно говорить о "священном", – так священо только недовольство человека самим собою и его стремление быть лучше, чем он есть; священна его ненависть ко всякому житейскому хламу, созданному им же самим; священно его желание уничтожить на земле зависть, жадность, преступления, болезни, войны и всякую вражду среди людей, священ его труд.

1928 г.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!